Любовь ЛИХОМАНОВА

ФРЕСКИ ДЕТСТВА

Когда с годами стихают бушевавшие в молодости страсти, умеряется пыл, мудреет ум и седеют виски, приходит время воспоминаний. Из-под обвалившейся «штукатурки прошлого» начинают проявляться «фрески» прожитой жизни. Сначала неяркими, смазанными масками и очертаниями, потом всё чётче и чётче всплывают в памяти рисунки ушедших событий, лица дорогих тебе людей, обрывки услышанных фраз и осколки увиденных пейзажей. С каждым уходящим днём всё чаще раскрывает услужливая память свои запасники, и ты вспоминаешь и вспоминаешь, казалось бы, давно забытое. Самые сильные и яркие впечатления родом из детства, из той бесконечной, беззаботной, наполненной постоянным светом радости поры, когда «деревья были большими».

В дни, когда накатывает угрюмой темной волной тоска и царапает сердце «наждачка» утраченного, я прохожу по улицам детства. К счастью, родной небольшой городок сберёг их для меня почти в первозданном виде. Хотя домики, хранящие полувековые воспоминания, обветшали и кое-где покосились, деревья возле них состарились, высохли или вообще вырублены, они всё те же «картинки наяву» из моего детства.

Вновь останавливаюсь перед одним из таких «закутков памяти», на небольшой, почти деревенской улочке, сохранившей провинциальную наивность. Этот дом был мне когда-то родным, его небольшие окна, кажется, смотрят с грустью на сегодняшнюю меня, а сам он тихонько вздыхает, хлопая малюсенькой ставенкой чердачного окошка. Здесь жили когда-то мои названные бабушка Нюра с дедушкой Иваном, эти стены помнят мои проказы, слёзы, улыбки...

Родными бабушкой и дедушкой судьба меня обделила. Деда забрала война с фашистами, а бабушку, ещё раньше войны, совсем молодой, сгубила желтуха. Но, по милости той же судьбы, в раннем детстве обрела я этих простых и добросердечных людей, ставших роднее родных, память о которых с благодарностью пронесла через всю последующую жизнь. Случай свёл мою маму с ними, так много сделавшими для меня в начале жизни. Годовалому ребёнку была нужна няня, и мама обходила наш городок, расспрашивая о ней. На этой самой улочке какая-то женщина показала на небольшую бойкую девчушку возле дома с тремя упирающимися в небо тополями и сказала: «Вот Надюшку спросите». Так буднично и счастливо обрела я разом и няню Надю, и бабушку с дедушкой, являвшимися её родителями. Прошло более полвека. Няня Надя и сейчас со мной, поддерживает и помогает жить, став после ухода мамочки крестной мамой.

В доме давно живут чужие люди, деревья, что «были большими», срублены. Только старенькая калитка по-прежнему скрипит, приоткрываясь под ветром, будто приглашая зайти в мир прошлого. И я захожу...

ПЕЧЬ

Русская печь всегда была главным «сооружением» в избе. Она и «царица», и «служанка» в одном лице. Без неё немыслимо представить избу на русском Севере. Большая, фундаментальная, занимающая почти пол-избы от пола до потолка, выбеленная до блеска, она была для меня, городского всё же ребёнка, навроде строгой учительницы, серьёзной и мудрой. Я относилась к ней с большой любовью и уважением. До сей поры помню весёлую пляску языков пламени и потрескивание поленьев и обожаю смотреть и слушать эту «музыку огня». Баба Нюра топила печь каждый день, в любое время года, только в холода жарче. Я любила наблюдать за процессом растапливания: бабушка брала с печи острый длинный ножик с деревянной ручкой, доставала откуда-то из-за печки сухое полено и ловко отсекала длинную лучину, которая загоралась от поднесенного к ней горящего куска газеты. Со звоном открывалась железная заслонка, обнажая колодчик сложенных внутри поленьев с кусками берёзовой бересты и кусочками бумаги для розжига. Горящая лучина в бабушкиных натруженных, с узлами вен, ловких руках на секунду исчезала в тёмном чреве печи, и тотчас же яркий всполох освещал печные внутренности. Через минуту огонь, набравший силу, уже вовсю прыгал по берёзовым поленьям, вовлекая их в свою сверкающую игру. Печь разгоралась и запевала гудящую протяжную песню тяги, потихоньку раскалялась, и вскоре приятное тепло стекало по её бокам, суля (как говорила бабушка) негу и ощущение полноты жизни.

Печь умела делать всё в едином лице. Она являлась и плитой, и духовкой, и микроволновкой, и пароваркой, и мультиваркой. Пироги, испеченные в ней, навсегда останутся для меня самыми вкусными на свете, каша из неё — самой разваристой, суп —

объедением. Ни одно из современных чудес техники так не приготовит, никогда.

Печка была батареей отопления, средством прогревания, средством лечения от простуд и «прострелов» спины, а ещё кроватью и убежищем от наказания. Помню: набегаешься в морозный день по улице, продрогнешь «до костей», бесконечно скатываясь со снежной горки, принесёшься вся в ледяных сосульках, с заиндевевшими ресницами, скинешь покрытую коркой снега одёжку, запихаешь валенки в специальные ниши в печке, а сама запрыгнешь повыше на теплые прогретые кирпичи, зароешься в набросанные по лежанке покрывала и одеяла и лежишь, постепенно отогревая красный нос, полыхающие румянцем щёки, закоченевшие руки и ноги. Ощущение той «истомы» никогда более после детства не посещало меня.

Печь служила и лекарем. Когда нагретые в ней кирпичи баба Нюра ставила деду Ивану на поясницу, тот забавно охал и кряхтел от процедуры, а потом как ни в чём не бывало шёл «управляться» по хозяйству.

Печь, вернее заслонка от неё, исполняла и роль ударного музыкального инструмента на импровизированных «концертах» в моём исполнении. Баба и дед всегда были благодарными слушателями. Комната или кухня иногда являли собой зрительный зал. Занавеска, отделявшая кухню от остальной части избы, служила на время концерта кулисами. Они торжественно раздвигались, я раскланивалась и с упоением заводила песни тех лет, что выслушала по радио, или читала стихи, выученные в детсаду или школе, или приплясывала и гнулась, выдавая всевозможные «па». На особо весёлых песнях и танцах дед Иван отбивал мне ритм ложкой на печной заслонке. Наградой за старание раздавались дружные аплодисменты всех присутствовавших на представлении. То были счастливейшие минуты маленькой «звезды», воспоминание о них всякий раз наполняет нежностью и теплом сердце.

А в субботу печь становилась баней. Баба Нюра готовила печку для «паренья» долго и тщательно. Выгребались тёплые ещё угли, зола. На теплые кирпичи внутрь печки полагались широкие деревянные доски, отмытые добела щелоком. Затем туда забиралась бабушка с берёзовым веником и тазиком теплой чистой воды. Следом туда запихивали меня, вход закрывался заслонкой, и в полной темноте бабушка, с любовью и извечной молитвой, терла мочалкой худые угловатые плечики, поглаживала руки и ноги, поливала их водицей и шептала: «Пресвятая Богородице! Помилуй чадо Любовь, и пошли ей здоровье, и спаси нас!» Затем следовали несколько похлестываний густым, чудно пахнущим берёзовым веником. И всё это действо внутри темноты печи, согнувшись «в три погибели», несло в себе какое-то таинство, так что до поры до времени я молча внимала всему происходящему. Когда таинство переставало завораживать, я издавала вопль пленника и что есть силы молотила рукой или ногой по заслонке. Бабушка кричала из печки: «Забирайте эту оглашенную». Заслонку поднимали, выпуская меня на свободу. Перед печью стояло огромное корыто, из лона печи я вываливалась прямёхонько в него, непременно измазавшись по пути сажей со сводов. В корыте меня ополаскивали несколькими ковшиками теплой воды и заворачивали распаренное, раскрасневшееся тельце в простыню. Через некоторое время таким же образом завершалась и бабушкина банная эпопея.

Апофеоз субботнего дня наступал, когда все вместе сидели за длинным обеденным столом напротив печки. Большой блестящий самовар попыхивал вверху заварочным чайником, а внизу мерцали красноватым пламенем седые угольки. Дед наливал нам чай в чашки, а себе в гранёный стакан. Бабушка выливала чай на блюдце и пила его с маленьким кусочком расщепленного крохотными щипчиками сахара, по-купечески держа блюдце на расставленных пальцах. Я копировала её один в один, с шумом прихлёбывая янтарный напиток. Над столом, из красного угла ласково смотрели с образов добрые глаза Богородицы. Сгущались вечерние сумерки, мерцала зажжённая лампадка, чуть слышно потрескивал остывающий самовар, на стене тикали старинные ходики, и все вокруг было наполнено невыразимыми словами покоем и тихой радостью.

ЛОШАДИНЫЕ ПРОГУЛКИ

Во времена моего детства названный дед Иван Антонович работал конюхом в сельпо. Это по нынешним меркам такая работа считалась бы захудалой. А тогда, полвека назад, автомобили в городе можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сельское же потребительское общество (сельпо) являлось островком благополучия, волшебной «коробушкой», в которой было всё: и дефицитные продукты питания, редко бывавшие в обычных магазинах, и одежда, и игрушки, и различные промтовары. Село в те годы снабжалось товарами, пожалуй, даже лучше, чем город. Деревенских тружеников ценили и всячески поддерживали сельскую потребкооперацию.

«Дедо» Ваня был отменным возчиком и конюхом. Не могу сказать точно, сколько мастей лошадей прошло через его конюшню, но точно помню серую и гнедую. Престижная должность была у Ивана Антоновича: и грузовой машиной была лошадка, и такси. В памяти отпечаталась картинка, как любил дед свой «автопарк». Бывало, прибегу в сельпо

к маме в бухгалтерию и наблюдаю с деревянного крылечка, как расчесывает дедушка лошадиную гриву или хвост большущим металлическим гребнем, а потом гладит своих «сотрудников» по блестящему подрагивающему крупу и приговаривает что-то ласковое. Время не сохранило в детской памяти клички лошадей, но тихое их приветственное ржание запомнилось. Деда они чуяли за версту и всегда «подавали голос».

С конца апреля по конец октября лошадка запрягалась в телегу, а с октября по март в сани. Не забуду я свой восторг и ребячий эмоциональный взрыв, когда дед с шиком подкатывал к детскому саду. Лошадь останавливалась у толпы изумленных детишек, а я вальяжно, «боярыней Морозовой», выбиралась из неизменно наложенного на дно для мягкости сена, стряхивала прилипшие к одёже соломины и давала рукой отмашку: «Поезжай!»

Особенно эффектным казался мне приезд в детский сад зимой. Сани были расписными, с красными, зелеными, синими витыми узорами по бокам. Под полозьями скрипел белоснежный снег, лошадь фыркала, выпуская клубы пара из заиндевелых ноздрей, и нетерпеливо била копытом, пока я, укутанная, как кубышка, в «сто одёжок», выкарабкивалась из «кареты». Потом дедушка взмахивал вожжами и зычно кричал: «Но! Пошла, ми-ла-я-я-я-я!» — и уезжал по своим делам.

Если вечером меня опять забирал дед, действо повторялось. Я физически ощущала, как завидуют мне «безлошадные» сверстники, и усаживалась в поданное к крыльцу «такси», задрав повыше и без того курносый нос. Нельзя сказать, что такое «счастье» мне выпадало часто, дед был занятой человек. Но когда уж выпадало — восторгов хватало надолго. Иногда я беззастенчиво пользовалась дедовым «служебным положением», уговорив подвести в нашу сторону и пару-тройку одногруппников, которые потом целую неделю всячески «уважали» меня.

Парад удовольствия продолжал иногда случаться и в начальных классах школы. Тогда эпатажную «доставку» дополнял портфель, галантно подаваемый дедом, сидящим на облучке. После окончания начальной школы лошадиные прогулки постепенно сошли на нет. Я выросла и ходила на занятия самостоятельно с весёлой ватагой одноклассников.

Много позже Иван Антонович серьёзно пострадал от своей работы, получив производственную травму. Бабушка Нюра рассказывала, что лошадь «выхлестнула» ему хвостом глаз, который долго потом болел и, в конце концов, был удалён. После этого случая я, и так с опаской относившаяся к большим и сильным животным, и вовсе обходила их стороной.

Деду «сотворили» искусственный глаз. Этот протез пугал, когда «глядел» на меня немигающим зрачком со дна стакана, наполненного водой, что стоял на стулике рядом с дедовой кроватью. С течением лет прибавился и ещё один стакан, в котором лежали, «скалясь», снятые на ночь «зубы». Все эти дедовы «причиндалы», которые Баба Нюра, смеясь, называла запчастями, ещё долго наводили оторопь на уже повзрослевшую меня.

Последним эпизодом, связанным с лошадью, запечатлелся в памяти солнечный, теплый майский день. Дед Иван догнал меня на дороге, остановил лошадь и восторженно прокричал: «Надежка парня родила!» Я поняла, что возвращается он из роддома, в который накануне отвёз свою дочку, няню Надю. А вскоре катала я по ставшей родной улице голубую коляску, из которой смотрел на меня распахнутыми ясными глазёнками Игоряшка, Надин сынок. Эстафета «пестования» перешла ко мне.

ПРАЗДНИКИ НЕПОСЛУШАНИЯ

Во все времена непослушных детей пугали. Не знаю, как сейчас, а во времена моего раннего детства ребёнка пугали волком, дядей милиционером, Бабой-ягой, цыганами и Бармалеем. С первыми двумя персонажами детских страшилок я встречалась «в живую»: в зоопарке и на улице. Каких-либо претензий друг к другу у нас не было, поэтому их я не боялась. С Бабой-ягой было потруднее, всё ж таки она была знакома по книжкам и фильмам-сказкам, но, скажем так, увидеть её наяву, находясь в городе, а не в тёмном лесу, шансов было мало. Понимая это, я только опасалась её, но не более.

С цыганами жизнь меня сводила почти постоянно. Моя родная улица в те времена была предпоследней, через квартал от неё городок заканчивался и начинались бескрайние поля, обрамленные стеною леса. Цыгане тогда кочевали в наших краях. Сразу за городом, в поросшем густою травой поле стоял их табор. С малых лет мы, ребятишки, видели летом их кибитки, телеги, в которые были запряжены лошади, и вольно пасущихся коней. По ночам далеко окрест сияли отблески их костров и слышались протяжные песни. А днём этот вольный народ расходился по городку: всюду сновали маленькие, юркие цыганята, покуда их родительницы, одетые во многочисленные разноцветные юбки, обходили дома и «пудрили» жителям мозги. Позвякивая монисто, босоногие, смуглые женщины предлагали всевозможные услуги от торговли до магии. После их визитов многие обнаруживали, что лишились денег, украшений и мелких вещей.

Однажды сеанс такого гипноза довелось принять и моей маме. Я запомнила только, что цыганка опустила в стакан с водой куриное яйцо, непонятно поворчала над ним, и в

стакане появилось что-то черное. Маме она сказала, что это порча, говорила ещё какие-то слова, видимо тревожные, потому что после её ухода мама ходила грустная весь оставшийся день. С того времени, завидев идущую по улице цыганку, я стрелой влетала в дом и запирала дверь на крючок.

Поговаривали, что цыгане воруют маленьких детей и увозят их с табором, именно этим и пугали малолеток. Но я как-то легко относилась к возможности такого поворота событий. Можно сказать, что боялась я цыган номинально. К чрезвычайному моему «сейчашнему» удивлению, когда мне было около четырёх лет, серьёзно боялась я только Бармалея. Герой сказки так запал в мою душу, так прижился в моей памяти, что я была уверена, что он существует на самом деле. Эту слабую сторону моего «шебутного» характера и использовали взрослые для того, чтобы призывать меня к порядку. Особенно преуспели в этом баба с дедом.

Помню, мама уехала на курсы повышения квалификации в Москву, и я жила у бабушки. Самое трудное занятие было уложить меня спать, «уторкать», как выражалась бабушка. Когда бывали исчерпаны все способы сделать это: рассказана сказка, выслушана не одна песня в моем исполнении, в десятый раз даны ответы на вопрос: «Когда приедет мама?» — а у меня сна «ни в одном глазу», бабушка прибегала к последнему наивернейшему средству. Она говорила, что сейчас придёт Бармалей и заберёт меня с собой. Я затихала, но ненадолго. В конце концов, бабушка, незаметно для меня, подмигивала деду Ивану, и начиналось представление. Вдруг, откуда-то из глубины сеней, раздавался сочный грубый бас: «Кто тут ещё не спит? А ну подайте его сюда!» Следом в дверь избы громко стучали. Распахнув испуганные глаза, я забивалась под одеяло за спасительную бабушкину спину. Видя такой поворот дела, баба Нюра нарочито громко обращалась в сторону двери: «Уходи, Бармалей! У нас Любашка послушная, спать легла, не отдадим!» Самое интересное, что этот «театр» всегда действовал безотказно: немного поворочавшись, я засыпала.

Проказницей я была большой. Наказывали меня в основном стоянием в углу, которое впрочем, было обычно недолгим и необременительным. Даже будучи наказанной, я находила, чем себя развлечь: то ковыряла обои, то тихонько что-то напевала, то вертела носками обуви. Когда же все занятия надоедали, заводила извечное: «Я больше не буду-у-у-у!!!» — и повторяла, как мантру, до тех пор, пока взрослым не надоедало. Освобожденная, тут же начинала шкодить снова.

Была у меня любимейшая кукла. Время стёрло из памяти её имя, но прекрасно отпечатало то, что тело, руки и ноги были тряпичными, а пластмассовыми — только голова с нарисованными глазами и губами и ладошки со ступнями. Я возилась с этой куклой постоянно, играя в «больничку», в «дом», в «палихмахерскую». Поскольку тело игрушки было набито ватой, она периодически стиралась мамой после многочисленных «уколов», зелёнки, «окрашивания» нарисованных волос. Как-то, в очередной раз заметив, что кукла испачкалась, я решила её «выпарить», как баба Нюра, в печке. В нашем доме к печке мне подходить было запрещено строго-настрого, но уж если я чего задумала... Ничего не сказав маме, оставшись на какое-то время одна в комнате, я распахнула дверцу недавно протопленной небольшой печки-лежанки и запихнула туда мою любимицу. От горячих углей вата сразу «зашаяла», а я заревела в голос. Прибежавшая на плач мама вытащила обгоревшую, обуглившуюся куклу, облила её водой. Когда я увидела то, что сотворила, — плач превратился в вой. Потом мама рассказывала, что только это неподдельное горе помогло избежать мне строгого наказания. То, что осталось от куклы, зашили, добавили новой ваты, одели в новое платье, и я ещё некоторое время играла с ней, пока не появилась новая.

Имя новой куклы было непривычное для провинциального слуха, модное для того времени — Майя. Она была «москвичкой», привезенной мамой из столицы. До чего же хороша! Яркое шёлковое цветастое платье, закрывающиеся и открывающиеся глаза с длиннющими ресницами, полностью пластмассовая, с очерченными ноготками на руках и ногах, говорящая «мама», если её наклонять в разные стороны. Но главный восторг вызвали у меня маленькие настоящие красные туфельки на изящных ножках. Ах, как же они были восхитительны!! Ни у кого из подружек не было такой куклы, никогда. Первым желанием было похвастаться куклой перед няней Надей и бабушкой с дедом. Я стала проситься у мамы сходить к ним. Но мама ответила, что пойдём позже. Нетерпение пересилило страх наказания, и я решилась на побег. Дом бабушки находился в трёх кварталах от нашего. Взяв куклу, опрометью понеслась по знакомой дороге. Когда, запыхавшаяся, протянула для любования своё сокровище бабушке, на кукле была только одна туфелька. Слёзы полились ручьем. Краски мира померкли... Сколько времени заняло моё возвращение домой, неизвестно. Помню только, что искала слетевшую туфельку на каждом сантиметре обратного пути, но так и не нашла. Когда обеспокоенная долгим отсутствием дочки мама пошла искать меня, она издалека услышала громкие причитания. В тот раз я сама себя наказала за непослушание, а красную куклину туфельку и сейчас вижу так явственно, будто не пролетело полвека, а всё было вчера.

Праздники непослушания повторялись до самого моего отрочества. Оглядываясь на

прожитое, я с грустью понимаю, что много раз сожалела о непослушании и ни разу о том, что послушалась.

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ

Ребёнком я росла непоседливым, «тороватым», по выражению бабы Нюры. Удивительным образом сочетались во мне любознательность с опасливостью, слезливость (мама иногда звала меня «слезомоей») и неудержимое веселье, обидчивость и «тараторство». Тишина в бабушкином доме улетучивалась сразу же с моим появлением в нём. Спокойно мне никак не сиделось, и дедушка ворчал, что «у меня гвоздь в одном месте». В первый раз услышав такое заявление, я долго вертелась перед большим старинным зеркалом, пытаясь увидеть этот самый гвоздь и недоумевая: «Почему не больно-то?» Не получив от зеркала ответа, я махнула рукой и понеслась по своим делам. В течение дня где только меня не носило: от чердака до голбца (подвала под домом), и везде я находила любопытные для моего взгляда вещи и явления и засыпала бабу Нюру вопросами.

Совсем маленькой у бабушки себя не помню, а вот отроческие годы иногда четко всплывают в памяти. Я росла, няня же Надя превращалась из девочки в девушку, со всеми вытекающими из этого прихорашиваниями перед зеркалом, примерками нарядов, прогулками и первыми свиданиями. Девчонки на «гулянку» обычно собирались вечером. С каким интересом наблюдала я эти сборы! Волосы накручивались на бигуди, поливались крепкой заваркой чая (для закрепления локонов, сотворенных с помощью нагретого на огне гвоздя), глаза подводились жирной чертой чёрным наслюнявленным карандашом, красились тушью из картонной коробочки с надписью «Нева», опять же с помощью «плювания» в эту самую коробочку. В довершение «марафета» красились яркой красной помадой губы и смазывались для блеска вазелином. Процесс наведения красоты обычно отслеживался мною с печки из-за занавески. Девчонки уходили в кино или на танцы, я вылезала из наблюдательного пункта и принималась изучать содержимое баночек, футлярчиков и коробочек, пытаясь повторить подсмотренное у них преображение на своем лице. Конечно, ничего путного у меня не получалось, и я долго раздосадовано оттирала чумазую мордашку под железным рукомойником.

Мне исполнилось 9 лет, когда на побывку к бабушке приехал со службы на флоте племянник Виктор, красивый молодой человек в морской форме. Широкие черные брюки (назывались они смешным словом «клёш»), полосатая тельняшка, белый китель с полосатым воротником, блестящие чёрные ботинки, и всё это великолепие дополняла белая бескозырка с черными лентами и надписью «Северный флот». В нашем сухопутном городе появление моряка было поистине событием, и Надины подружки крутились теперь в доме постоянно. Ах, как мне нравилась матросская форма! Отутюженные стрелки на брюках вызывали восхищение, хотелось пройтись по городу с этим красавчиком, крепко держась за сильную руку! Наблюдая с печки за девчоночьей суетой, я страдала от уколов ревности, хотя и не знала тогда, что это такое. Виктор относился ко мне, как и должно относиться к ребёнку: угощал шоколадом (мне казалось, что привёз он его целый чемодан), шутил и улыбался. А тем временем, день ото дня за печной занавеской всё сильнее закипали нешуточные страсти. Обнаружили они себя случайно.

Девчонки с Виктором вечером собирались пойти в кино и почему-то (теперь уж запамятовала, по какому случаю) пообещались взять меня с собой. Счастью моему не было границ. По своему обыкновению, за сборами в кино я следила из привычной «засады» на печке. До сеанса ещё было достаточно времени, и мои «старшие товарищи» взялись играть в карты, в доме воцарилась тишина, и я... уснула в теплоте печки. Проснувшись и обнаружив, что выход в свет накрылся «медным тазом», я разревелась. Бабушка Нюра утешала меня, как могла, говорила, что пожалели меня будить, а я всё рыдала и рыдала, обзывая всех обманщиками. Но сердиться долго не пришлось. На следующий день утром, при полном параде, Виктор провожал меня в школу. Глаза моих одноклассников округлились, как медные пятаки, когда я зашла в класс, держась за руку бравого моряка, высокого, стройного, красивого. В сто раз лучше, чем на картинке. Он донёс портфель до моей парты, поднял меня на руки и поцеловал в щёку. Это было что-то!!! Класс гудел до самого вечера, расспрашивая меня про Виктора, а я лишь скромно отвечала, что он — моя родня.

Наверное, тогда я в первый раз влюбилась, потому что не сводила глаз и повсюду следовала за ним, пока срок побывки не закончился. Уезжая, Виктор подарил мне свою фотографию с памятной надписью на обратной стороне. Через несколько лет я с помощью ластика исправила дату на обороте на более позднюю и превратила снимок в якобы фото своего кавалера, невинным обманом вызвав зависть подружек. Через сорок с лишним лет мы пересеклись с Виктором в интернете незадолго до его смерти, повспоминали, посмеялись. Встретиться наяву, увы, было не суждено.

А после отъезда Виктора Надюша заневестилась. В дом всё чаще стал захаживать высокий, симпатичный, кудреватый Володя. Всё реже Надя оставалась со мной, всё больше времени отдавала ему. Кавалер был острым на язык, вечно подшучивал и, как

говорила бабушка, «подскрынивал» надо мной. Я отвечала ему взаимностью. Могла надерзить, могла навредничать, могла показать язык, выглядывая при этом из-за бабушкиной спины.

Как-то летом, теплым, солнечным днём, я придумала себе игру: спрыгивать с кухонного окна в огород. Высота была не ахти какая, и я разыгралась, бесконечно спрыгивая в траву под окошком и снова и снова забегая в избу. Бабушкино ворчание, что расшибусь, мало волновало, и я носилась туда-сюда как угорелая. Когда к «воспитанию» подключился зашедший за Надей Володя, я из вредности раззадорилась ещё больше и изменила тактику игры. Теперь, сиганув с окна, не обегала вокруг дома, чтобы зайти в двери, а стала залезать в кухню обратно тоже через окно. Несколько вылазок успела я сделать, не обращая никакого внимания на запреты, строя при этом Володе рожицы. Ловко увертывалась от рук, пытавшихся удержать меня в доме.

В конце концов, Володька вышел из кухни, а я продолжила свою акробатику. В очередной раз, ловко подскочив с земли на окошко, я замешкалась, заворачивая ногу через подоконник, и в ту же секунду голые ноги под платьем садануло резкой обжигающей болью. Под окном стоял Надин ухажёр и стегал меня пучком крапивы. Взвыв иерихонской трубой, я влетела в кухню и понеслась через двери в огород к бабушке. Кожа покрылась волдырями и нестерпимо горела, слёзы ручьями текли из глаз. Бабушка жалела меня, прижав непослушную головушку к своей груди и вытирая подолом фартука горючие потоки. А дня через два, когда боль прошла, пузыри исчезли, я «отомстила» Володьке, тайно набросив большой крючок на дверь веранды, где проходило их свидание с Надюшей, сорвав тем самым поход на танцы в городской парк.

Теперь, когда бываю в гостях у Нади с Володей, он всякий раз спрашивает: «Помнишь крапиву-то?» — и я отвечаю: «А как же? Помню!» И мы, оба седые уже, хохочем как дети.

Вновь стою у старенького домика на улице моего детства. Память уносится в полувековую давность. Чем дольше живу, тем явственнее прорисовываются «переводные картинки» нежного возраста. Пытаясь прикоснуться к давнему, осторожно заглядываю за забор, за которым — территория детства. Сам забор уже не тот. В те годы дом окружал не забор, а маленький деревянный палисадничек. Справедливости ради скажу, что, был ли он резным, не помню, но то, что был, — точно. На улицу вела калитка, повиснув на которой, я любила кататься под сопровождение скрипа стареньких петлей. Около дома и до сих пор есть маленький огородик, правда, несколько изменивший свой вид за прошедшие десятилетия. Сколько же у меня связано с этим домом! Сколько пережито и понято в нём! Бесценны детские воспоминания...

ПРО ГРИБЫ

Я играю «в дом» под большими деревьями в маленьком палисадничке. Рассажены на траве пластмассовые куклы, плюшевые медведи и зайцы за импровизированным столом, сооружённым из осколка кирпича и обрезка досочки. В кукольной посудке разложены «конфеты» из рябиновых листочков и головок аптечной ромашки, в крохотных чашечках налит «чай» из канавки под мостками. На «плите» из крышки от консервной банки готовится к приготовлению грибной суп: нащипан «лук» (осока), вымыта «картошка» (мелкие круглые камушки), из-под деревьев добыт и самый главный ингредиент — крепкие изящные грибочки. И тут «на кухню» заглядывает мама. Увидев грибы, всплескивает от удивления руками и говорит: «Так это ж белые!! Ты где их раздобыла?» Показываю на вытоптанную сандалиями микроскопическую полянку у подножия дубков. В тот день игрушки довольствовались «супом» из осоки и камушков, а грибы мама сварила, и мы с превеликим удовольствием поужинали ими. Таким был мой первый опыт «грибной охоты», ставшей через много лет одним из самых любимых увлечений.

ПРО ПЕТУХА

В доме мы жили не одни. Был у нас сосед дядя Лёша. В тёплые весенние или летние дни выходил дядя Лёша на деревянное крылечко, выносил «беленькую» с немудреной закуской на тарелочке, или просто выдирал пучок лука с первой попавшейся в огороде грядки, и наслаждался жизнью. Он сидел на крылечке, расслабленно улыбаясь всему белому свету, иногда говорил с нами «за жизнь», иногда принимался горланить песни, не обращая никакого внимания на ворчание жены, пытавшейся унять его таланты. Его состояние нас нимало не тревожило, агрессии он никакой не проявлял, и мы с его дочкой, моей ровесницей, могли некоторое время с интересом выслушивать его беззлобные пьяные «россказни».

Как-то раз почти опустошивший «чекушку» и освободивший от закуски, кроме кусочка черного хлеба, блюдце, дядя Лёша дремал на прогретых летним солнышком половицах крылечка. По двору, негромко кудахтая, степенно бродили разноцветные

соседские куры. Несколько раз мимо крыльца важно прошествовал и петух. В какое-то мгновение «осоловелый» дядя Лёша приоткрыл один глаз и встретился взглядом с куриным начальником. И тут ему в голову, по выражению бабушки, «вступила моча». Поднявшись, он изловчился и поймал петуха за лапу. Тот затрепетал крыльями, забился в руках. «Девки, счас цирк будет», — сказал дядя Лёша и, опрокинув бутылку, щедро полил остатками водки кусочек черного хлеба на блюдце, потом отпустил птицу. Мы, совершенно обалдевшие от такого поворота дел, заворожено смотрели, что будет дальше.

Видимо «собутыльничал» кочет не в первый раз, потому как он проворно принялся склевывать хмельной хлеб. В довершение «трапезы» дядя Лёша раскрыл руками петушиный клюв и вылил туда все оставшиеся в бутылке водочные капли. А через несколько минут началось невероятное: петух соскочил с крыльца и начал выделывать лапами немыслимые «па», пытаясь удержать равновесие. Его мотало из стороны в сторону, он то валился на бок, то соскакивал на лапы и силился бежать, отчего кубылялся, как кукла-неваляшка. Несколько раз пробовал захлопать крыльями и закукарекать, но у него ничего не получалось, кроме нескольких вялых взмахов и негромких гортанных звуков. Бедная птица буквально валялась по двору. Мне было его очень жалко и нисколько не смешно. «Представление» закончила дяди Лёшина жена. Отхлестав мужа мокрым рукомойником и обозвав «пьяным дураком», она отнесла закатившего глаза петуха в курятник.

А уже на следующее утро проспавшийся петух как ни в чём не бывало разгуливал по двору, что-то выговаривая курам на своём курином языке. Солнце опять заливало доски крылечка, и жизнь продолжалась.

ПРО МОНЕТКУ

Светит яркое июньское солнце. Я вприпрыжку бегу по улице. В руках маленький эмалированный желтый бидончик с такой же маленькой крышечкой. Сегодня для меня праздник: мама в первый раз послала меня за молоком. Совершенно одну в магазин, расположенный в квартале от нашего дома. Осенью я ещё только пойду в школу, но уже знаю: молоко стоит 24 копейки за литр. Мама подала мне 30 копеек, значит, на сдачу у меня останется 6 копеек, на которые я куплю целых 2 стакана газировки с сиропом. Это будет потом, когда мы с мамой пойдём далеко, «в город», то есть в центр, где стоят автоматы с газировкой. А пока я с серьёзным видом совершаю свою первую в жизни самостоятельную покупку и осторожно, чтобы не расплескать молоко, иду обратно, зажав в одной руке бидончик, а в другой две трёхкопеечные монеты сдачи.

Тропка, идущая вместо тротуара по краю улицы, поросла густой травой, которая приятно щекочет мои ноги, обутые в открытые сандалии. Я иду и мечтаю, какой сироп лучше выбрать? Возьму апельсиновый и грушевый! Нет, лучше грушевый и лимонный! Нет, всё-таки грушевый и клубничный! За мечтами тропка обрывается у нашей калитки. Оставив бидончик на кухонном столе, я разжимаю кулачок, и... На ладошке сиротливо лежит одна единственная монетка. Как же так? Где вторая? Суетливо выворачиваю наизнанку единственный кармашек платьица... Пусто. Бросаюсь во двор, от калитки к крылечку, обратно, ещё и ещё раз. Всё напрасно! Потеряла...

Немного подумав, зареветь сейчас или погодить, решаю повременить с плачем и несусь по пройденному маршруту обратно до магазина, просматривая каждый сантиметр дороги. Не нашла. И тут меня осеняет мысль, что денежка могла упасть в траву, и я принимаюсь её выдирать. Ползая на коленях, деревенской козой, выщипываю и выщипываю траву метр за метром. Мимо идут люди, спрашивают, что я потеряла, сдерживая слёзы, отвечаю: «Денюжку-у-у!» — и снова, и снова срываю стебли одуванчиков, подорожника и осоки. Наконец, кто-то из прохожих догадался сказать маме о моих изысканиях. Когда она подошла ко мне, расстроенной, в безнадежно испорченном травяным соком платье, большая часть травы была выдергана. Оглушенная неудачей поиска, я, наконец-то, разревелась. Уткнувшись в мамин фартук, причитала вселенской тоской о том, как мне теперь выбрать: грушевый сироп купить или клубничный, потому как хочу я оба!!! Окинув взглядом масштабы моего «сенокоса», мама улыбнулась и ласково сказала: «Глупая! Да купим мы тебе и грушевый, и клубничный, и апельсиновый! Не реви только!» Жизнь снова засияла всеми красками летнего дня, и только зелёные разводы от травы на руках отмылись нескоро.

Ах, если бы и во взрослой жизни всё решалось так легко и просто! Потому и помнит и хранит душа то состояние лёгкости бытия, те отблески детства.

БАБУШКИНЫ СЛОВЕЧКИ

В юные годы были у меня две бабушки. Обеих звали Анна, обе были мне неродными по крови, но обе оставили неизгладимый след в моей жизни.

Анна Николаевна была мамой няни Нади, с нею рядом прошли детские и отроческие годы в родном провинциальном Грязовце. Высокая, статная, извечно находившаяся

в домашних хлопотах и трудах, запомнилась она мне мозолистыми руками, белым платочком на седых волосах и добрыми глазами. Я просто обожала приходить к ней в гости. Помню, открываешь калитку, пробегаешь деревянными мосточками маленький дворик, отворяешь дверь и... чувствуешь одуряющий запах жареной картошки, плывущий по коридору перед дверями в избу. Это на «мосту» (так называла бабушка крылечко под крышей перед входом в дом), в маленьком закуточке готовится обед на керосиновой плите, а проще говоря, «карасинке». Запах керосина смешивается с запахом картошки и лука. Аппарат гудит, сковорода на нём аппетитно потрескивает, вырабатывая румяные корочки. Вкус немудреного блюда казался мне потрясающим.

Топливо для «карасинки» покупалось в специальном магазине в центре города. Маленький, каменный, он и по сей день существует, сменив несколько раз за прошедшие десятилетия лишь профиль торговли. В годы моего детства сходить с бидоном за керосином было так же привычно, как за молоком. Детям горючий материал не продавали, но с запиской от бабушки пару раз, помню, покупала. В магазинчике почему-то не было окон, и он привлекал меня некой таинственностью, потому как освещался тем же керосином в старой керосиновой лампе.

Бабушка Анна говорила удивительным языком, который сохранил говор её родимых мест. Сейчас слова, понимавшиеся как само собой разумеющееся, уже не услышишь. Многое забылось, но кое-что детская память сохранила.

Так, замешивая тесто в квашонке, бабушка говорила мне: «Ужотка (немного погодя) рыбник спеку, приходи ись». А пироги у неё были знатные! Испеченные с молитвой в русской печи, румяные, душистые, просто таяли во рту. Особенно я любила, когда «на биседу» приходили гости — бабушкины соседки. Вот тут был простор для наблюдения и слуха. Старушки неторопливо попивали чай из ведерного самовара и переговаривались меж собой. «Этта (недавно) на силу (еле-еле) из церквы домой дошла, вся задохлась (мучалась одышкой)», — жаловалась бабушка «товаркам» (подружкам). «Ой, и не говори! — вторила ей одна гостья, — и я эдакая развара (неповоротливая) стала, пока приду из магАзина, пока розоболокусь (разденусь) — семь потов сойдёт!» — «Ой, девки! — расплывалась в улыбке третья собеседница. — Намедни (вчера) полезла в голбец (погреб) картошку перебирать, дак эдак устосалась (устала), вылезти не смогаю, пришлось батько (мужа) звать на подмогу. Дык он ведь, глухая тетеря, не слышит, орала, как оглашенная, пока дотумкал (понял)»...

Но особенно диковинных слов я наслушалась от бабушки Анны Яковлевны, маминой мачехи. На родину матушки, в Тарногский район, приезжала в отрочестве на летних каникулах. Эта бабушка была маленького росточка, худенькая, щупленькая, как подросток, но без дела я её не видела никогда. Она всегда встречала меня, чужого, в общем-то, ребёнка, радостно и гостеприимно. «Здорово живитё! — восклицала она с порога. — Поди налызло (надоело) в городе-то? За земляницей на угор (холм) бежи-сбегай. Лонись (в прошлом году) робяты (ребятишки) уповод (много) натаскали».

Утро начиналось с запаха испеченных в русской печке шанежек (открытых пирожков) со всевозможными начинками: картошкой, капустой, грибами. Жмурясь от удовольствия, я поглощала незамысловатые яства, запивая их парным молоком, и слушала бабушкины слова, которые круглыми баранками катились по залитой утренним солнцем горнице: «Ныне вёдро (хорошая погода) долго стоит, рицка (речка) обмелела, но робяты бултыхаются, поди и ты охолонись (охладись). Дожжи-ти бы прошли, так цилики (серые грибы) в лесу пошли бы, грибовницу (грибной суп) состряпали бы».

«Что цашецку-ти малу взяла, пей молоко-то. Гли-ко, кака несолощая (тощая)», — приговаривала бабушка, видя, что привыкшая к чаю, я не спешу опустошить чашку с молоком.

«Любанка! Подь сюды! — кричала бабушка, стоя на крыльце, прикрыв рукой, навроде козырька, глаза от слепящего летнего солнца. — Бежи в лавку, седня там, бабы бают, баские (красивые) платки завезли!»

Запали в память эти словечки, греют душу теплотой и покоем. Вспоминаются особенно первые мои приезды в деревню, когда бабушкина речь вызывала неподдельное удивление.

Первый день в гостях. Спрашиваю, чего поделать по дому. Бабушка отвечает: «Эвона (вон) опахни в избе», — и уходит в огород, оставив меня в недоумении. А всё оказалось просто: «пахать» означает — подметать. Или ещё. Бабушка вечером загоняет во двор корову, вернувшуюся с пастбища. Увидев, что я подхожу к калитке, кричит: «Помани, помани, как бы не боднула!» И я послушно протягиваю бурёнке раскрытую пустую ладонь и причмокиваю языком: «На-на-на». — «Обожди, — расшифровывает бабушка местное словечко. — Не заходи! — машет руками бабуля. Корова стоит как вкопанная, бабушка слегка ударяет её хворостинкой и беззлобно ругается: — Ох, будь ты трою!» Что означали эти слова, я так и не узнала...

Давно нет на этом белом свете ни Анны Николаевны, ни Анны Яковлевны, но их добрые, светлые образы навсегда отпечатались в моём сердце. Их голоса звучат в памяти, заставляя щемяще-благодарно биться сердце.